

Иван Лукаш

Боярыня Морозова



Иван Созонтович Лукаш Боярыня Морозова Серия «Со старинной полки»

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2454575*

Аннотация

«...Боярыня Морозова и княгиня Урусова – раскольницы. Они приняли все мучительства за одно то, что крестились тем двуперстием, каким крестился до них Филипп Московский, и преподобный Корнилий, игумен Печерский, и Сергей Радонежский, и великая четверица святителей московских. Во времена Никона и Сергей Радонежский, и все сонмы святых, до Никона в русской земле просиявшие, тоже оказались внезапно той же старой двуперстной «веры невежд», как вера Морозовой и Урусовой.

Это надо понять прежде всего, чтобы понять что-нибудь в образе боярыни Морозовой...»

Содержание

Иван Созонтович Лукаш

Боярыня Морозова

Глава из неизданной книги

Звезды небес. Тихая ночь... В глухом Боровске, на городище, у острова, лежал камень, поросший мхом, а на камне были высечены забвенной московитской вязью буквы, полустертые еще в 60-х годах прошлого века:

«Лета 7... погребены на сем месте сентября в 11 день боярина князя Петра Семеновича Урусова жена его, княгиня Евдокия Прокопьевна, да ноября во 2 день боярина Морозова жена, Федосья Прокопьевна, а в иноках схимница Феодора, дочери окольного Прокопия Федоровича Соковнина. А сее положили на сестрах своих родных боярин Федор Прокопьевич да окольный Алексей Прокопьевич Соковнины».

Огни лампад никогда не горели над суровой могилой Федосьи Морозовой и меньшей ее сестры Евдокии, не теплилось никогда церковной свечи.

Только звезды небес. Тихая ночь.

* * *

Боярыня Морозова и княгиня Урусова – раскольницы. Они приняли все мучительства за одно то, что крестились

тем двуперстием, каким крестился до них Филипп Московский, и преподобный Корнилий, игумен Печерский, и Сергей Радонежский, и великая четверица святителей московских. Во времена Никона и Сергей Радонежский, и все сонмы святых, до Никона в русской земле просиявшие, тоже оказались внезапно той же старой двуперстной «веры невежд», как вера Морозовой и Урусовой.

Это надо понять прежде всего, чтобы понять что-нибудь в образе боярыни Морозовой.

Надо понять, что, живи во времена Никона Сергей Радонежский, он, может быть, еще грознее, чем протопоп Аввакум восстал бы на «правление» вековой русской молитвы, векового подвига Руси во Христе, и «правления» – кем? – такими непрочными греками, невеждами и торгашами, как Лигарит и Лихуды.

Надо понять, что не за пресловутую «букву» поднялись стояльцы двоеперстия, а за самый Святой Дух Руси. Они поняли, что с «новинами Никона» искажается призвание Руси, они почуяли ужасающий разрыв единой народной души, единой мысли народной, падение и гибель Русской земли.

Все это надо понять, чтобы осмелиться коснуться самого прекрасного, самого вдохновенного русского образа – образа московитской боярыни Федосьи Морозовой.

* * *

Свет тихий, все разгорающийся, исходит от нее, чем ближе о ней узнаешь.

Великомученица раскола. Но никакого раскола, откола в ней нет. В образе боярыни Морозовой дышит самое глубокое, основное, что есть в русских, наше последнее живое дыхание: боярыня Морозова – живая душа всего русского героического христианства.

Не те, вероятно, слова, и не мне найти настоящие слова о ней, но кажется боярыня Морозова потомук разгадкой всей Московии, ее душой, живым ее светом.

И потому это так, что боярыня Морозова – одна из тех, в ком сосредоточивается как бы все вдохновение парода, предельная его правда и святыня, последняя, религиозная тайна его бытия.

Эта молодая женщина, боярыня московитская, как бы вобрала в себя свет вдохновения старой Святой Руси и за нее возжелала всех жертв и самой смерти.

* * *

Боярышне Федосье Соковниной шел семнадцатый год, когда за нее посватался стольник и ближний боярин царя

Алексея Глеб Иванович Морозов.

В семье окольного Прокопия Соковнина старше Федосьи были братья Федор и Алексей, а ее младше – сестра Евдокия.

У Соковниных хранилась с Василия Третьего память об иноземных предках: они вышли из немцев и в своих праотцах были сродни ливонским Икскюлям, а имя Соковнины приняли от жалованного села Соковня.

Как странно подумать, что в страстотерпице русского раскола, в той, в ком дышит так прекрасно душа всей Московии, шла издалека твердая и упорная немецкая кровь.

Боярышня была ростом невысока, но статная, легкая в походке, усмешливая, живая, с ясными синими глазами. Так светлы были ее волосы, точно сияли в жемчужовых пронизях и гранчатых подвесках. Мы не любопытны знать о предках, ничтожна наша историческая память. И боярыню Морозову мы помним разве только по картине Сурикова. Одинокий Суриков могуче чуял Московию, она, можно сказать, запеклась в нем страшным видением «Утра стрелецкой казни».

* * *

А было боярышне Федосье Прокопьевне семнадцать, когда сам царь благословил ее на венец образом Живоначальные Троицы, в серебряных окладах и на цветах.

Ближний боярин Морозов, ему далеко перевалило за

пятьдесят, суровый вдовец, ревнитель Домостроя, спальник царей Михаила и Алексея, спальники же следили за нравами дворцовых теремов и девичьих, крепко тронулся светлой красой синеглазой Федосьюшки и ввел ее в свой дом.

С нею вошла в дом Морозова молодость и веселость. Старшие братья Алексей и Федор, без сомнения, любили сестру, только одним глубоким братским чувством могло быть написано «Сказание о жизни», какое написал позже о сестре брат Федор. А младшая Евдокия, как то бывает часто, во всем, не думая, подражала старшей, как бы повторяла ее жизнь. Брат Федор позже напишет о сестрах, что они были «во двою телесех едина душа».

Знаменитый человек Московии, один из самых ее мудрых и светлых людей, Борис Морозов, брат мужа юной боярыни, также полюбил ее «за радость душевную».

Радость душевная – какие хорошие, простые слова... В них сквозит вся юная боярыня Морозова, усмешливая, синеглазая, легкая, с ее светлой головой, сияющей, как в теплое солнце, в жемчужовой кике.

Вот это – надо заметить: подвижницы вышли не от ярых изуверов и изуверок, не от дряхлых начетниц молелен, а из живой, веселой и простодушной московской молодежи.

Молодой Московией была боярыня Морозова, радость душевная...

Правда, за молодежью морозовского дома подымается вскоре такой могучий, такой огромный, точно само грозное небо Московии, человек, как Аввакум.

С 1650 года он стал духовником молодой боярыни, ее домашним человеком, другом, учителем. Это были те времена «неукротимого» протопопа, когда он был близок к цареву верху, водил дружбу с царским духовником Стефаном Вонофатьевичем, те времена, о каких Аввакум отзовется позже с веселой насмешливостью:

– Тогда я при духовнике в тех же полатах шатался, яко в бездне мнозе...

А на Москве это были времена Никона. Точно черная туча гнетущая налегла и затмила свет: Никон.

Смута духа, поднятая Никоном, без сомнения, куда страшнее всех наших Смутных времен.

Из Смутных времен Русь вышла победоносная, в светлом единодушии. Она вышла из великого настроения порывом единодушного вдохновения. Русь, в испытаниях Смуты, впервые за все века вполне обрела, поняла себя. Она была охвачена единодушным желанием устройства, освящения и освежения всей своей жизни. Она уже нашла свою твердую основу в двенадцати Земских Соборах царя Михаила. Такой она приблизилась и к временам царя Алексея.

Тишайший царь как бы только длил тихую весну, какая стала на Руси со светлых дней царя Михаила, и своими Уложениями, в общем движении к устройству Дома Московского, желал все уладить и в Московской Церкви.

Но с крутым самовластием Никона церковное Уложение обернулось духовным разложением, исправление – искажением, перемена – изменой. Никонианство для крепких московских людей обернулось предательством самой Христовой Руси.

Именно Никон расколол народное единодушие, вынесенное из Смуты, рассек душу народа смутой духовной. И те, кого отсекли, откололи «новины», с вещей силой почували в «черном Никоне» дуновение жесточайшей бури «черного бритоусна Петра», конечное потоптание Московии, забвение народом его призвания о преображении Отчего Дома в светлый Дом Богородицы. Они поняли, что так померкнуть самому духу Святой Руси. С какой нестерпимой болью поняли они, что Никон нанес удар по самому глубокому, последнему, что есть у народа, – по его вере.

За русскую веру, как они ее понимали, заблуждаясь или не заблуждаясь, за русскую душу, за дух Святой Руси они и пошли на дыбы и в костры.

Из Смутных времен Русь вышла единодушной. Но после духовной смуты, поднятой Никоном, не нашла она единодушия и до наших дней.



Можно представить, как в доме стольника Морозова молодежь, родня Федосьи Прокопьевны и она сама, слушали огненные речи Аввакума.

Он-то весь – как сверкание последней молнии московской, как один вопль о спасении Руси, об отведении чудом Божиим сокрушительного, занесенного над Русью удара. Аввакум уже предвидел за Никоном кнут и дыбы Петра. И вещей клетот его тревоги передался молодой боярыне.

Морозова переняла его святую тревогу.

Весь мир веселой и простодушной молодой женщины, знатной боярыни, большой москвитки, был потрясен. Аввакумовы зарницы осветили ей все: Русь зашаталась в вере, гибнет. И жизнь стала для нее в одном: как спасти Русь, отдавши для того, когда надо, и себя.

Последнее допетровское поколение, последняя молодая Московия – такие, как Федосья Морозова, или княгиня Евдокия Урусова, или их брат Алексей Соковнин, – вошли в Никонову смуту и в ней, как и последнее поколение старой России, погибли в истязаниях и пытках смертельной борьбы за Русь.

Что видели кругом глаза молодой боярыни?

Над Московией, по слову одного современника, воскурялась великая буря. Духовная гроза потрясла всех. Московия билась, как в чудовищной лихорадке-огневице, захлебнулась в клокочущих спорах, стала исходить бешенством духовной распри.

Вся Москва сотряслась от воплей, споров. Всюду – в избах, хоромах, в церквах, на мостах, в Китай-городе, на Пожаре – вопили, исходили яростью, больше не понимая друг друга, спорящие о вере, о Никоне, о перстах, аллилуе, сколько просфор выносить за обедней, сколько концов у креста, как писать Иисус, о жезлах и клобуках, и как стали Троицу четверить, и как звонить церковные звоны.

Точно всю душу Московии перетряхнуло. Распря шла о словах, о буквах, о клобуках, а желали понять и защитить самую Русь, с ее праотеческой верой, старым крестом и старой молитвой.

Страшная смута духа перекатывалась тяжелыми валами от торжищ и корчемниц до дворца, где клекотали много дней о вере, а с Софьей, царь-девицей, когда стал мутить Девичий терем, закачало все царство, и хлынула, наконец, страшным стрельцким бунтом.

И рухнула у ног Петра в утро стрельцкой казни, когда

Московия с зажженными свечами сама пела себе отходную под виселицами и пыточными колесами. Рухнула и растеклась, как будто исчезла.

Нет, не исчезла, но вбилась, глубоко и глухо, как клин, в каждую русскую душу.

* * *

У боярыни Морозовой родился сын, его нарекли Иваном. Но радость материнства не победила, не утишила нестерпимой тревоги за Русь.

Морозова точно ищет, чем спасти Русь от всего, что надвинулось на нее, и, как все люди, ставшие за старую Русь, не знает другого спасения, кроме молитвы. Молодая боярыня, можно сказать, припала к молитве. Суровым обрядом, истовым чином, она точно желает огородиться от потемневшего мира, так чаёт вымолить Светлую Русь.

– Пора нам, наконец, понять, в чем наши московские отцы полагали силу обряда: молящийся обрядом воплощает дух, как бы оформляет его, как бы преображает обрядом жизнь вокруг себя, отодвигает всю небожественную, нестройную, неистовую стихию мира, заполняя вокруг себя все божественной стройностью, истовостью обряда, чина, каждочасной молитвы.

В доме Морозова шли самые суровые долгие службы, правила, чтения. Боярыня замкнулась в монастырском домаш-

нем обиходе.

Особенно заговорили о том на Москве после смерти ее мужа, в 1662 году.

* * *

Ей еще не было тридцати, когда она стала домодержицей, матерой вдовой. Потомка ослепит невольно пышная византийская мощь, тяжкое великолепие большой и богатой московской боярыни, звенящей от кованого золота и драгоценных камней.

«Друг мой милый, Федосия Прокопьевна, – напишет позже о тех ее временах Аввакум. – Была ты вдова честная, вверху чина царева, близь царицы. В доме твоему тебе служило человек с триста. Ездила ты по Москве в карете дорогой, украшенной мусией и серебром, на аргамаках многих, по шести и двенадцати запрягали, с гремучими цепями, за тобой слуг, рабов и рабынь шло иногда и триста тридцать, оберегая честь твою и здоровье...»

Как иконостас, отягощенный золотом, горящий византийским жаром, была с виду недосыгаемая боярыня.

А что за этими аргамаками, мусией, гремучими цепями?

Во вдовьем доме тихий гул молитв, ночных и дневных, церковное пение, в столовых палатах – нищие, странные, убогие, калеки, юродивые, старцы и старицы.

Ее дом становится и больницей, и странноприемницей, и

монастырем.

Морозова точно приняла на себя неслышный подвиг все отдавать тем, кто обижен миром, где уже дышит сатана. Не жизнь двоится: то выезды ко двору и боярство в золоте, на гремячих цепях, а то в тонком сумраке московском, скрывая лицо под шугуем вдовьих смирных цветов, обход милостыней темниц и убогих домов.

Кругом гонимые, смятенные, охваченные ужасом пред замыслом Никона – смести старую веру, сдунуть Святую Русь.

Мир кругом осатанел, зашатался.

И в дом Морозовой, как в Божью крепость, спасаются от осатаневшего мира.

Она принимает к себе пять изгнанных за старую веру монахинь. Монах Симонова монастыря Трефилий тайно посылает инокиню Меланью в игуменьи этого домашнего Морозовского монастыря.

На своем примере, подвиге, жертве хочет отбиться, отмолиться от страшного мира Морозова.

* * *

Со старицей Анной Амосовой она прядет рубахи, переодевается с нею в рубища, и «ввечеру ходит по улицам, по темницам, и оделяет рубахами, и раздает деньги».

Она точно хочет умилоствити добродетелями надвинувшийся сатанинский мир.

Среди больных она принимает к себе нищего Стефана, в гнойных язвах и струпьях.

Молодая женщина «сама язвы гнойные ему измывала, своими руками служила, ела с ним из одного блюда». Она точно хочет победить отвращение перед всеми страданиями, и сама готовится к ним.

В доме у нее таятся от властей юродивые Федор и Киприан, стояльцы за старую веру. Теперь мы не понимаем юродства, брезгуем им: для нас юродивый либо слабоумный чудаки, либо ломающий комедию попрошайка.

А для московита юродивый был народным пророком, и подвиг юродства так, например, разъясняет Кедрин: «повелел ему Бог ходить нагу и необуvenu, да не повинующиеся слову возбудятся зрелищем странным и чудным».

Юродивые отдавали себя на зрелище, на людскую потеху, за дело Христово. Так и Федор и Киприан, неведомые пророки московские.

Киприан, из верховых богомольцев царя, босой, в веригах, не раз молил государя о восстановлении древнего благочестия, ходил по торжищам, гремя пудовыми ржавыми цепями, и на толпе обличал Никона. Это было юродство воюющее, бряцающее железом.

И кроткое юродство принял на себя Федор. Он был потрясен потемнением мира, дыханием сатаны, тронувшим все. И открылся у него дар слез.

Он плакал о гибели Московии. Босой, в одной рубахе, он

днем юродствовал, мерз на стуже, а по ночам молился, да отвратится гибель Руси.

Аввакум с замечательной силой и простотой рассказывает о молитве Федора:

– Пожил он у меня полгода на Москве, а мне еще не могло, в задней комнате двое нас с ним. И много час-другой полежит, да встанет, да тысячу поклонов отбросает, да сядет на полу, а иное, стоя, часа три плачет. А я-таки сплю, иное не можется. Когда же наплачется гораздо, тогда ко мне приступит:

– Долго ли тебе, протопоп, лежать, как сорома нет, встань, миленькой батюшко.

Ну, так вытащит меня как-нибудь, сидя, мне молитвы велит говорить, а он за меня поклоны кладет, то-то друг мой сердечный был...

О чем плакал гораздо ночами беглый молодой монах или мужик, неведомый русский пророк Федор? О гибели Руси, уже неотвратимой, о попрании царства Московского, о лютых казнях Петровых.

О том же плакала с ним на ночных молитвах и молодая Морозова.

В 1662 году в доме Морозовой поселился гость: вернулся на Москву Аввакум, помученный ссылками и острогами, полысевший, согбенный, но полный свежей силы и неукротимой жажды борьбы.

Царь Алексей все шатался. Властью царской шел на пово-

ду Никона, а человеческая совесть «стонала». Аввакум так и пишет о царе Алексее – «постанывал».

В царе Алексее страшный разлад: по власти за Никона, а по совести нет.

Чует и царь Алексей, что последнее, основное, раскалывают на Москве никоновские новины, но будто и новины хороши, и раз сделано – сделано, чего невежды упорствуют. В таких безвольных колебаниях, в постанываниях то судит царь всем Собором защитников старого креста и молитвы на отлучение, на анафему и лютые казни, то снова пришатывается к ним и уже судит самого Никона, то опять гонит людей за их старую веру в Сибирь, на костры.

В 1662 году царь как будто снова пришатнулся к Аввакуму, протопоп в чести.

– Се посулили мне, – рассказывает Аввакум, – Симонова дни сести на печатном дворе книги править, и я рад сильно, мне то надобно лучше и духовничества. Пожаловал царь, царица, дружище наш Федор Ртищев, тот и шестьдесят рублей казначею своему велел в шапку мне сунуть, а о иных нечего и сказывать, всяк тащит да и несет всячиною. У света моего Федосьи Прокопьевны жил, не выходя, на дворе, понеже дочь мне духовная, и сестра ее, княгиня Евдокия Прокопьевна, дочь же моя...

Аввакум, как видно, уже не верил ни посулам, ни ласке царя, и сколько презрения у него к тем подобострастникам московским, что тащили ему, в угоду царю, «всячину».

Аввакум и его духовные дочери ждали другого – страдания. Для них Русь уже шатнулась к сатане и померкла. Может быть, в эти дни и сказал впервые Аввакум боярыне Морозовой удивительные, странные слова:

– Выпросил у Бога Светлую Русь сатана, да очервенит кровью мученической. Добро ты, дьяволе, вздумал, и нам то любо: Христа ради, нашего Света, пострадати...

Для них вся Русь, царь и патриарх, священство ее, и боярство, и людство, выпрошены у Бога сатаной. Один только выкуп остался – кровь мучеников.

И они мученичества-выкупа дождались.

* * *

Царь снова шатнулся от неверной стонущей ласки к жесточи.

Над Московией загремел Собор 1666 года, тот темный Собор звериного числа, кому суждено было поколебать русскую душу до самого сокровенного, на целые века, и залить Русь кровью, и озарить ее кострами мучеников.

Царь, в великолепии державы и скипетра, с синклитом боярства, с восточными патриархами, с архиепископом великой Александрии, папой и судией вселенной, архиепископами, архимандритами, игуменами, со всем Священным Собором осудил, как думали сторонники старой молитвы, – все восемьсот лет русского христианства, отринул старого рус-

ского двоеперстия, каким сжаты руки мощей всех святителей Русской земли, и самый символ русской веры прочел на Соборе искаженным. А митрополиты ответили: «все принимаем, и на не брегущие о сем употребити крепкия твоя царския десницы».

И вот куда, в какие ямы Мезени, Пустозерска, снова согнан с Москвы непоколебленный соборными анафемами Аввакум, и где ближние молитвенники боярыни Морозовой, Федор и Киприан?

Федора, рыдальца за Русь, сослали под начало в Рязань к архиепископу Иллариону. Его били плетьюми, держали скованного в железа, «принуждая к новому антихристову таинству», не принудили, сослали в Мезень и там повесили.

Киприана казнили «за упорство» в Пустозерском остроге.

Стала готовиться и Морозова к страданию-выкупу Светлой Руси от сатаны.

Под тяжелой боярской одеждой молодая женщина начала носить жестокую белую власяницу, закаляла себя. Наконец, тайно приняла постриг от защитника старой веры, бывшего Тихвинского игумена Досифея.

В боярстве, на царевом верху, по всей Москве, знали, что вдова стольника Морозова – приверженка старой веры, первая раскольщица, ненавистница Никона, знали, что расколыцики текут через ее высокие хоромы, таятся там – хотя бы пятерица ее инокинь, – но боярыню не трогали.

Больше того, в самый год «темного Собора» государь воз-

вратил Морозовой отписанные от нее вотчины «для прощения государыни царицы Марьи Ильиничны и для всемирные радости рождения царевича Ивана Алексеевича».

Но боярыня точно отталкивает от себя царскую милость, отказывается от возвращенных богатств. Она расточает их в милостынях, она выкупает с правезу людей.

Боярство, круг Морозовой, ее ближняя и дальняя родня, кроме сестры и братьев, не понимали ее, дивились, чего ей стоять за ярых московских раскольников – мужиков и невежд-попов. Они не понимали терзающего ужаса Морозовой о гибели Руси, ее чужения неминуемого конца Московии.

Почти все, и самые умные из людей московских, сами уже поддались на сладкое и привольное житие польской шляхты, и на любопытные затеи иноземщины.

Жилистая сухота Московщины, суровое мужичество, уже гнетет их, жмет.

Сами-то они почти уже не верят в стародавний чин и обряд. Москва для них помертвела, и не у одного из верховных московских людей мелькает мысль: «вера-де хороша для мужиков, а мы-де поболе видали, мы-де умнее».

Зияющая расселина прошла по народной душе: верхи уже отделились от понимания народа, и начался, покуда еще невидимый, раскол единой нации московской на две нации: обритых, окуржженных Петром «бар» и бородатого «мужи-чья».

Такие верхи московские уже не верили в молитву, устали

от обряда. Они равнодушно приняли Никона и, может быть, с насмешкой умников смотрели на боярыню, омужичевшую вдруг с попами-раскольниками. Они не понимали вовсе, что так опалило, зажгло ее душу.

* * *

Знатная родня страшала Морозову, что не ей, честной вдове, быть в распре с царем и патриархом.

Ее дядя, царский окольничий, умный и холодный Михайло Ртищев, отец знаменитого нашего «западника», не раз ездил к Морозовой отвращать ее от раскольщиков.

– Вы, дядюшка, похваляете римские ереси и их начальника, – отвечала ему боярыня. – Отец же Аввакум – истинный ученик Христов, потому что страдает за закон Владыки своего.

Дочь Ртищева, Анна, пыталась тронуть иное – самые глубокие чувства Морозовой, ее материнство:

– Ох, сестрица-голубушка, – причитала Ртищева, – съели тебя старицы-белевки...

Ртищева говорила о пятернице инокинь старой веры, таившихся в доме Морозовой:

– Проглотили они душу твою... И о сыне твоём не радись. Одно у тебя чадо, а ты и на того не глядишь... Да еще какое чадо-то, кто не подивится красе его, подобало бы тебе и на сонного на него любоваться... Сам государь с царицей

удивлялись красоте его... Ох, многие скорби подымеешь, и сына твоего сделаешь нищим.

Брат Морозовой, Федор, записавший в «Сказании» эту беседу, записал и ответ Морозовой. Ответ могучей матери-христианки:

– Ивана я люблю, и молю о нем Бога беспрестанно, и радую о полезных ему душевных и телесных. Но если вы думаете, чтобы из любви к Ивану душу свою повредила или, его жалеючи, отступила благочестия и этой руки знаменной... – Говоря так, боярыня подняла, вероятно, руку с двуперстием: – То сохрани меня Сын Божий от такого неподобного милования. Христа люблю более сына... Знайте, если вы умышляете сыном меня отвлекать от Христова пути, вот что прямо вам скажу: если хотите, выводите моего сына по Пожар и отдайте его на растерзание псам, – и не помыслию отступить благочестия, хотя бы и видела красоту, псами растерзанную. Если до конца во Христовой вере пребуду и сподоблюсь вкусить за то смерти, то никто не может отнять у меня сына...

Суровость ответа матери, отдающей сына на терзания Пожара, площади казней в Китай-городе, может показаться потомку жестокостью. Это ожесточение души, готовой на все страдания.

И, вероятно, так же отвечали о своих сыновьях и первые матери-христианки, – когда сами готовились выходить на арену римского цирка.

* * *

«Сказание» Федора Соковнина о сестрах-мученицах Федосье и Евдокии, какое я желал бы только пересказать, – такой же замечательный памятник московской письменной речи, как и «Житие» Аввакума.

Когда ученый-расколовед Н. И. Субботин издал в свет труды Аввакума, епископ Виссарион, председатель православного «миссионерского братства Петра», на собрании его низко поклонился Субботину и сказал:

– Я прочитал Аввакума... Какая сила... Это Пушкин семнадцатого века... Если бы русская литература пошла по пути, указанному Аввакумом, она была бы совершенно иной.

Так и «Сказание» о боярыне Морозовой.

И если бы знали мы жития Морозовой и Аввакума с юности, если бы пережили их, поняли бы вполне, не одна наша литература, а вся духовная жизнь России, может быть, была бы совершенно иной.

* * *

Никакие уговоры и застрашивания не могли, конечно, переменить Морозову.

Она уже избрала свою судьбу – страдание за двуперстную

Русь, «выпрошенную у Бога сатаной».

Но еще никто не трогал, не тревожил боярыню. Сильная рука была у нее на Москве – сама царица Марья Ильинична, болезная, тихая...

Царица немало пролила слез о кручине московской – в новинах Никона, и она чужла гибель Руси. Царица любила Морозову.

По царициной воле раскольщицу и не трогали.

Но в марте 1669 года тихая государыня Марья Ильинична скончалась, и, едва минул год, государь сыграл свадьбу с Наталией Кирилловной Нарышкиной.

* * *

Другая женщина стала рядом со стареющим, огрузневшим царем Алексеем, иной воздух она принесла с собой в царские хоромы, воздух свежий и острый.

Эта молодая сильная стрельчиха еще в Смоленске глотнула польской сладости и привольства, а в доме московского воспитателя приобвыкла к веселости иноземщины. Царь, может быть, и взял ее за себя – белозубую, смелую, свежую, – чтобы забыть тяжелый церковный чин, молитвы, ладан, свечи и слезы болезной своей Марьи Ильиничны.

Смоленская стрельчиха, вышедшая в царицы, будущая мать Петра, возлюбила люто боярыни Морозовой. В двух московских женщинах столкнулись два мира: Московия, с

ее последним, не погасающим светом Святой Руси, и Россия иная, отринувшаяся от Московии, свежая и бурная, как дикий ветер, – Россия Петра.

Столкновение миров Наталии Нарышкиной и Федосьи Морозовой началось с самого малого, незаметного, как бывает всегда.

* * *

На царской свадьбе в январе 1671 года Морозовой, как наибольшей боярыне, надо было стоять в челе других боярынь и говорить приветственную титлу царю.

Морозова уже давно сказывалась больной, никуда не выезжала, она отказалась быть и во свадебном чину: «ногами зело прискорбна, не могу ни ходити, ни стояти».

– Знаю, она возгордилась, – сказал царь, услышав об ее ответе. – Нечисты для нее благословения архиерейские.

Доброхоты Морозовой поехали уговаривать ее не гневить государя. Ее увещевают боярин Троекуров и князь Петр Урусов, муж ее сестры Евдокии.

Тонкую и коварную игру играет князь Петр. С татарской хитростью он сам толкает жену, маленькую Евдокию, все глубже в раскол. Он хорошо понимает, чем все это грозит, но наводит Евдокию на мысли о страдании, о подвиге за старую веру, хотя сам старой веры и не коснется. Иные мысли, темные, потаенные, у князя Петра.

Он хочет свалить несчастную Евдокию к раскольщикам и отделаться, избавиться от жены: на примете у князя другая...

Троекуров и князь Урусов приехали к Морозовой. Убеждали долго, грозили гневом государя.

Боярыня, наконец, поднялась со скамьи, поклонилась гостям и сказала:

– Если хочет меня государь отставить от правой веры, – в том бы он, государь, не покручинился... Да будет ему известно: до сей поры Сын Божий покрывал меня Своей десницей.

И больше ни слова. Умолкла.

Об упорстве Морозовой донесли царю. Он усмехнулся недобро:

– Тяжело ей бороться со мной. Один из нас непременно одолеет...

В тот же, может быть, вечер на половине нареченной царицы Наталия Кирилловна отдалась, с жадной яростью, гневу и слезам: ее, царицу, посмела обойти раскольница. Смоленская стрельчиха обернулась к Морозовой со всей нещадной бабьей ненавистью и злобой.

* * *

И вот, точно быстрая гроза, удар за ударом, разражается над боярыней.

У царя Алексея, наверху, о Морозовой было назначено

думное сидение: строптивую решили взять жесточью.

О ходе дела Федосья Прокопьевна знала от сестры Евдокии. Той все новости с верху переносил муж.

– Слышь, княгиня, – говорил он маленькой жене. – Сам Христос глаголет: время пришло пострадати...

Он толкал княгиню под батоги, на дыбу, он хорошо знал, что так его разведут с Евдокией и он женится на другой...

Младшая сестра всей душой прильнула к старшей, хотя, может быть, и догадывалась о коварстве мужа.

На простодушной мученице Евдокии, воистину, знаменуется свет лица ее старшей сестры. Евдокия во всем как отоб-раженный, тихий свет. Но не будь такой опоры, как свет-Евдокеюшка, не могла бы вынести всех испытаний и Федосья.

При первых же толках о решении верха Евдокия Урусова перебралась в дом сестры, чтобы ни в чем и никогда не оставлять ее больше.

Боярыня Морозова отпустила от себя своих стариц-монахинь.

– Матушки мои, время пришло, – поклонилась она им в ноги на прощание. – Благословите страдати без сомнения за имя Христово.

Сестры остались в хоробах одни. С минуты на минуту ждали, что за ними придут. Федосья устала, легла в постельной комнате, на пуховике, близ иконы Богородицы Федоровской.

Рядом с сестрой прилегла Евдокия.

Вечерело. Сестры ждали многой стражи, стрельцов с бердышами, а пришел к ним от царя один только дьяк. Государь-де приказал спросить, «како крестишься».

Морозова, не подымаясь с постели, молча сложила пальцы по-древнему, в двуперстие. Так же молча подняла руку с двуперстием Евдокия. Дьяк ушел.

Снова тишина в доме. Затишье перед бурей. На самом закате к царю пришла присылка от Морозовой. Государь выслушал дьяка и сказал:

– Люта эта сумасбродка.

А к ночи дом Морозовой был полон и стрельцов и дьяков. Участь боярыни и княгини была решена. Архимандрит вошел к ним уже без поклона, без истового креста на иконы.

– Царское повеление постигает тебя, – сказал архимандрит боярыне. – И из дому твоего ты изгоняешься. Полно тебе жить на высоте, сниди долу...

Кругом, может быть, засмеялись. Боярыня Морозова сурово молчала, к ней жалась меньшая сестра.

– Встань и иди отсюда, – приказал архимандрит.

Сестры не тронулись. Тогда обеих вынесли из дома в креслах.

Когда несли их, безмолвных, точно окаменевших, за толпой стрельцов, на крыльцах, послышался тонкий детский крик:

– Мамушка, мамушка...

От шума в доме проснулся сын Морозовой, отрок Иван,

сбежал со среднего крыльца, за матерью. Только тогда шевельнулась она, посмотрела на сына с улыбкой:

– Сынок, Ванюша.

И отрок поклонился ей вслед.

В доме дьяки опрашивали слуг, их согнали толпой в людские хоромы. Кто крепился в двуперстии, тех отделяли ошуюю¹. В доме стояли плач, брань и стук стрелецких бердышей.

А сестер уже донесли до подклетей. Кат надел им на ноги грузные конские железа, заковал. У подклети стала стража.

Кончился век боярыни Морозовой и княгини Урусовой.

Начался нескончаемый век двух страдалиц-сестер Федосии и Евдокии.

* * *

На рассвете, едва только стала громоздиться туманом и дымом Москва, в подклеть к сестрам, сгибаясь и сплевывая, пробрался дьяк Ларион Иванов.

Дьяк приказал кузнецам сбить железо. Сестры занемели и от цепей и от холода: две ночи они лежали, скованные в подклети. Дьяк приказал им идти в Чудов. Обе отказались.

Тогда стрельцы понесли на плечах носилки с боярыней Морозовой, а за носилками, пешей, пошла ее младшая сестра княгиня Урусова.

¹ Влево, по левую руку (*уст.*).

Боярыню стрельцы ввели в Соборную палату. Ее поставили перед судом епископов.

Долго в молчании смотрели на молодую женщину, бледную, с сияющими синими глазами, Павел, митрополит Крутицкий, и Иаким, архимандрит Чудовский, и думные дьяки.

Иаким Чудовский, тот, что когда-то смолоду служил в конных рейтарах, начал выговаривать боярыне с горячностью:

– Старцы и старицы довели тебя до судилища, пожалей хоть красоту сыновью.

Морозова ответила тихо:

– О сыне перестаньте мне говорить, ибо Христу живу, а не сыну.

Собор переглянулся, пошептался, и вопросы со всех концов палаты начали как бы загонять боярыню в угол:

– Причащаешься ли ты по тем служебникам, по которым государь-царь, благоверная царица, царевичи и царевны причащаются?

– Нет. И не причащусь, потому что царь по развращенным Никоновым служебникам причащается.

– Стало быть, мы все еретики?

– Вы все подобны Никону, врагу Божью, который своими ересями как блевотиной наблевал, а вы теперь-то осквернение его подлизываете...

Ярый шум поднялся на Соборе. Упорную раскольщицу уже не судят, ее бранят, лают.

Она стоит молча, прижавши руку с двуперстием к груди, только вздрагивают полузакрытые веки.

– После того ты не Прокопьева дочь, а бесова дочь, – крикнул кто-то.

Она открыла глаза, перекрестилась:

– Я проклиная беса... Я дочь Христа.

Уже исступленная, ожесточенная – заблуждающаяся ли в упорстве своем или вдохновенно видящая тайные видения небесные, но сильная и непобедимая в вере своей стоит перед Собором Морозова.

И, может быть, видела она все святые видения и знамения, крылья светлой Руси.

И странно, боярыня Морозова перед судом московских епископов вызывает образ иной и дальний: светлой Девы Орлеанской, тоже на суде.

Но не в кованых латах русская Жанна д'Арк, а в той невидимой кольчуге духовной, о какой сказано у апостола Павла.

* * *

Ее увели назад, в подклеть, снова забили ноги в железа.

А наутро думный дяк снял сестрам железа с ног, взамен надел обеим острожные цепи на шею.

Морозова перекрестилась, поцеловала огорлие студеной цепи:

– Слава Тебе Господи, яко сподобил еси мя Павловы узы

возложить на себя...

Конюхи вынесли ее, закованную, к дровням. На дровнях ее повезли через Кремль.

На Москве курилась метель. С царских переходов, у Чудова, поеживаясь от стужи, царь смотрел, как везут строптивую раскольницу. Может быть, уже жалел, что не пострашилась она страданий и позора, может быть, уже и «постанывал», глядя на боярыню.

На позорный поезд Морозовой смотрела и молодая царица Наталия, чернобровая, крутотелая, разогретая сном. Смотрела без сожаления, с холодным равнодушием.

За дровнями, ныряя в метель, молча бежала толпа. Вероятно, эти мгновения и изобразил Суриков в своей «Боярыне Морозовой».

Последнюю молодую Московию в лице боярыни Морозовой везли в заточение. Морозова подымала руку, крестясь дуперстно, и звенела цепью.

Ее отвезли в Печерский монастырь, под стрелецкую стражу.

Евдокию, тоже обложивши железами, отдали под начало в монастырь Алексеевский.

Сестер разлучили.

Алексеевским монахиням приказано было силком водить княгиню в церковь. Она сопротивлялась, ее волочили на рогах.

Маленькая княгиня билась, рыдала:

– О, сестрицы бедные, я не о себе, о вас плачу, погибающих, как пойду в ваш собор, когда там поют не хваля Бога, но хуля...

Упорство или заблуждения старшей, Федосьи, ожесточенная ее жажда пострадать за старую веру, у Евдокии еще сильнее; как зеркало, с резкостью, отражает она все черты старшей сестры.

* * *

На Москве о сестрах-раскольницах начался жестокий розыск.

Одну из морозовских стариц, Марью, жену стрелецкого головы Акинфия Данилова, бежавшую на Дон, схватили на Подонской стороне. Ее, окопавши, посадили в яму перед стрелецким приказом. «Бесстыднии воины пакости ей творяху невежеством, попы никонианские, укоряя раскольницей, принуждали креститься в три персты и ломали ей персты, складывающе щепоть».

Братья Морозовой тогда же были согнаны с Москвы: старший, Федор, – в чугуевские степи, а младший, Алексей, – в Рыбное.

Дом Морозовой запустел.

Имена, вотчины, стада коней были розданы боярам. Распроданы дорогие ткани, золото, серебро, морозовские жемчуга.

Разбили окончины. Ворота повисли на петлях. В пустых хоромах гулял ветер.

Верный слуга боярыни, Иван, схоронил кое-какие боярские ларцы с драгоценными ожерельями, лалами² от расхищения. Ивана предала его жена, бабенка гулящая.

Слуга Морозовой был пытан, жжен огнем шесть раз и, все претерпевши, с другими стояльцами за старую веру сожжен на костре в Боровске.

В опустевшем, разграбленном доме оставался сын Морозовой, отрок Иван.

От тоски по матери, от mnogой печали Иван заболел, лежал в жару, бредил.

О лютой болезни сына Морозовой дошло, наконец, до царя.

Алексея Михайловича уже мучила его беспокойная совесть, уже тосковало – «стонало» – его доброе человеческое сердце.

² Драгоценный камень, рубин, яхонт (уст.).

Царь послал к отроку своих лекарей, чтобы выходили морозовскую ветвь. Но было поздно: ни немецкие медики, ни московские знахарки не помогли. Мальчик умер.

Сквозь оконце кельи, где гремела цепью Морозова, прилучившийся монастырский поп сказал боярыне о кончине сына.

Только здесь, только однажды, прорвалось всей силой рыданий материнское горе, любовь к Ванюше. Монахини слушали, как убивается в келье, звякает цепью мать. Ночью не раз тревожил монастырь ее тягостный крик:

– Чадо мое, чадо мое... Погубили тебя отступники.

Потом она стихла. Это был последний прорыв горячих человеческих чувств в нечеловеческих страданиях.

Из Пустозерска, с Мезени к ней тайно добирались тончайшие мелко писанные лоскутки – послания Аввакума из земляных ям и острогов.

Какая ясная мощь и какая ясная печаль в утешениях протоппа, точно и он сам, когда пишет, тихо плачет, как плакала над его утешениями боярыня:

– Помнишь ли, как бывало: уже некого четками стегать, и не на кого поглядеть, как на лошадке поедет, и некого по головке погладить... Миленькой мой государь, в последнее увиделся с ним, егда причастил его.

Совершенны по силе чувства человеческого все ясные послания Аввакума из своей темницы в темницы сестер:

– Подумаю да лише руками взмахну, как так, государыни

изволили с такие высокие ступени ступити и в бесчестие ринуться. Воистину, подобно Сыну Божию: от небес ступил, в нищету нашу облечеса и волею пострадал. Мучитесь за Христа хорошенько, не оглядывайтесь назад. И того полно: побоярила, надобно попасть в небесное боярство...

Аввакум называл сестер «двумя зорями, освещающими весь мир», и его ласковые слова навсегда останутся вокруг сестер, как тихий нимб:

– Светы мои, мученицы Христовы.

Аввакум и утешал, и звал к смарагдовой твердости перед всеми испытаниями. К сестрам доходила поддержка и других стояльцев за веру. Скитальцу Иову Льговскому удалось даже обратиться в Печерский монастырь и причастить Морозову. Суровый пустынный Епифаний Соловецкий пишет ей с нарочитой грубостью, с резкостью, точно, чтобы приохотить ее к ожесточению страданий:

– О, светы мои, новые исповедницы Христовы, не игрушка душа, чтобы плотским покоем ее подавлять... Да переставай ты и медок попивать, нам иногда случается и воды в честь, а живем же, али ты нас тем лучше, что боярыня... Поклоны, егда метание на колену твориши, тогда главу впрямь держи, егда же великий поклон прилунится, тогда главою до земли, а нощию триста метаний на колену твори...

Защитники старой веры знали, что Морозова – мученица, и с грубой суровостью в мученичестве ее закаляли..



Москву затревожил подвиг и цепи сестер, боярыни и княгини. Множество вельможных жен, повествует «Сказание», и простых людей стекалось смотреть на сестер. Тихая толпа, без шапок, стояла у Печерского. Раскольничье диво могло стать московской святыней. Все это смутило и затревожило царя и патриарха.

Патриарх Питирим первый стал просить царя за Морозову:

– Батюшко-государь, кабы ты изволил опять дом ей отдать и на потребу ей дворов бы сотницу крестьян дал, а княгиню бы тоже князю отдал, так бы дело-то приличное было, потому что женское дело: много они смыслят...

Патриарх чаял земным покоем, боярскими хоромами, сотницами крестьян покорить ту, кто уже дошел до края испытаний, исступился.

Царь догадывался, что сотницами крестьян Морозову не вернуть.

– Я бы давно это сделал, – ответил он патриарху. – Но не знаешь ты лютости этой жены, сколько она мне наругалась. Сам испытай, тогда вкусишь ее пресности. А потом я не ослушаюсь твоего слова.

Патриарх решил испытать.

В два часа ночи Морозову взяли из монастыря и повезли на дровнях в Чудов. Ее ввели в палату в цепях. В сыром сумраке горели, трещали восковые свечи.

Снова, в глубоком молчании, смотрели из сумрака патриарх, митрополит Павел, дьяки на эту невысокую, исхудавшую боярыню, с сияющими глазами, едва звенящую цепью.

Точно сама Московия, светящаяся, замученная, тихо вышла из темени, стала перед патриаршим столом.

– Дивлюсь я, – сказал патриарх. – Как ты возлюбила эту цепь и не хочешь с нею разлучиться.

Бледное лицо боярыни тронулось нечаянной улыбкой:

– Воистину возлюбила, – прошептала она.

Тихий голос патриарха, тихие ответы Морозовой, потрескивание восковых свечей только и были в судной палате. Казалось, вот будут сказаны самые простые слова, и переменится судьба Морозовой, и патриарх поклонится страдальце, и она – патриарху.

– Оставь нелепое начинание, – уговаривал патриарх. – Исповедуйся и причастись с нами.

– Не от кого.

– Попов на Москве много.

– Много, но истинного нет.

– Я сам, на старости, потружусь о тебе.

– Сам... Чем ты от них отличен, если творишь то же, что они... Когда ты был Крутицким митрополитом, жил заодно с отцами предания нашей Русской земли и носил клобучок старый, тогда ты был нам любезен... А теперь ты восхотел волю земного царя творить, а Небесного Царя презрел, и возложил на себя рогатый клобук римского папы... И потому мы отвращаемся от тебя... И не утешай меня тем словом: «я сам...» Я не требую твоей службы.

Тогда поднялся гневный шум. Морозову бранят, «лают», прорвалась московитская грубость, презрение, ненависть.

Исступилась и Морозова. Тишина сменилась лютым неистовством. Раскольничья боярыня уже не желает стоять перед никонианскими епископами, виснет на руках стрельцов.

Патриарх решился насильно помазать ее священным маслом. Старец поднялся, стал облачаться в тяжелую патриаршью мантию. Еще принесли свечей. В огнях трикириев, с духовенством, патриарх, во всем облачении, начал идти с дарохранительницей к боярыне.

Морозова смотрела на него, прижавши цепи к груди. Патриарх подошел со словами:

– Да придет в разум, яко же видим – ум погубила... – с силой ухватился рукой за меховой трех боярыни, желая приподнять его, чтобы помазать лоб.

Морозова отринула, оттолкнула патриаршескую старческую руку, в исступлении:

– Отойди, зачем дерзаешь неискусно, хочешь коснуться нашему лицу...

Она подняла цепи перед собой, звеща им с криком:

– Или для чего мои оковы... Отступи, удались, не требую вашей святыни... Не губи меня, грешницу, отступным твоим маслом...

Гнев охватил и патриарха. Он вкусил «пресности», о какой предупреждал царь, и он понял, что ни уговоры, ни насильничество не переменят ничего.

Патриарх стал с другими бранить злобно боярыню:

– Исчадь ехиднино, вражья дочь, страдница...

Ее стращали, что наутро сожгут в срубе, ее сбили с ног, поволокли по палате мимо патриарха, стоявшего над нею во всем облачении, среди трикирий.

«Железным ошейником, – рассказывает о ночи судилища ее брат Федор, – едва шею ей надвое не перервут, задохлась, по лестнице все ступеньки головой сочла».

Боярыню увезли. Ввели ее сестру, маленькую, дрожащую княгиню Урусову. Патриарх думал и ее помазать освященным маслом.

Но едва он ступил к княгине, она сама сорвала с себя княжескую шапку и кисейное покрывало, ее волосы пали, раскидались по плечам: княгиня перед всем Собором опростоволосилась. А не было большего стыда на Москве для мужчины увидеть простоволосую женщину, а для женщины – открыть голову перед мужчинами.

От княгини тоже отступили.

* * *

На другую ночь сестер привезли в цепях на Ямской двор. Морозова думала, что на рассвете их выведут на Болото жечь на срубе. Сквозь тесноту стрельцов она сказала Евдокии:

– Терпи, мать моя...

Сестер повели на пытку. У дыбы сидели князь Воротынский, князь Яков Одоевский и Василий Волынской.

Первой повели к огню Марью Данилову, морозовскую инокиню, схваченную на Полонской стороне.

Марью обнажили до пояса, перекрутили руки назад, «подняли на стряску и с дыбы бросили наземь».

Второй повели княгиню Евдокию Урусову. Светало. На дворе падал снег. Кат по талым черным лужам подошел к княгине, рассмеялся дерзко:

– Ты в опале царской, а носишь цветное, – кивнул кат на княгинину шапку с парчовым верхом.

– Я перед царем не согрешила...

Кат зажал ей рот, содрал цветную ткань с ее шапки. Маленькую княгиню под руки повели на дыбу.

Князь Воротынский между тем допрашивал боярыню Морозову. Она стояла в снегу, придерживая обмерзшие цепи.

– Ты, Федосья, юродивых принимала, Киприана и Федора, их учения держалась, тем прогневала царя.

Боярыня послушала князя, опустила цепь в снег:

– Тленно, мимоходяще все, о чем ты говорил, князь...

Сын Божий распят был народом своим, так и мы все от вас мучимы.

На стряску, к дыбе, повели и Морозову. Ее подвесили на ремнях, над огнем она не умолкала, стыдила бояр за мучительство.

За то с полчасы висела она с ремнем, «и руки до жил ремни ей протерли».

Каты сняли боярыню с дыбы, положили рядом с сестрой, нагими спинами в снег, с выкрученными назад руками.

В ногах сестер, в потоптанном снегу, лежала Марья Данилова. Ей клали мерзлую плаху на перси, ее били в пять плетей немилостиво, по хребту и по чреву.

Морозова вынесла свою пытку, но чужой не вынесла. Она зарыдала жалобно, видя текущую кровь инокини, вещее видение всех русских мучительств. И сквозь рыдания сказала наклонившемуся думному дьяку:

– Это ли христианство, чтобы так людей мучить?

Три часа лежали в заснеженном снегу, на Ямском дворе, под рогожами, княгиня с боярыней и в пять плетей забитая инокиня.

* * *

В глухое утро на самом снегу каты стали ставить на Болоте

сруб, сносить поленья и хворост.

Москва проснулась с вестью: Морозову будут жечь. На Болото потянулись в сивом тумане хмурые глухонемые толпы.

А у царя, с самого света, было наверху думное сидение. Боярство наддышало в палате холодным паром, сыростью, на медвежьих шубах и на охабнях оттаивал снег.

Наверху все лаяли Морозову. В подобострастии пытали все разгадать волю царя и думали, что его воля расколыщицу сжечь. Один Долгорукий, седой, еще в неоттаявшем инее на соболях, поднялся и стал перечить боярскому лаю, пресек. Бояре начали смолкать, с ворчаньем, а сами все смотрят на лицо царево, как-де он, что-де он, государь.

Алексей Михайлович, грузный, – он уже страдал тогда от тучности, от одышки, от водяной, точно бы налившей ему желтоватой водой крупное лицо, – сидел понурясь и был грустен.

Царь поднялся со вздохом, со стонущим вздохом, и вышел молча.

* * *

Сруб на Болоте приказано было разметать.

Царя зашатала снова неумолкаемая распря между совестью человеческой и властью царской. И нет большего свидетельства о полном разладе его с собою, неуверенности во всем, что затеял он с новинами Никона, и доброты его без-

вольной, и слабости, и усталости, чем краткое посланьице, написанное им в тот день к только что пытанной боярыне:

– Мати праведная Федосья Прокопьевна, вторая ты Екатерина-мученица, дай мне, приличия ради людей, чтобы видели, – не крестись тремя персты, но только руку показав, поднеси на три перста...

Боярыня Морозова своим стоянием за двуперстие победила царя, он только «приличия ради», чтобы не признать себя побежденным перед всея Москвой, просит ее всего лишь «показывать», будто крестится «на три перста».

– Пришлю возок царский, – обещает он, – с аргамаками, и придут многие бояре, и понесут тебя на головах своих ко мне, в прежнюю твою честь...

Но что ей возки, аргамаки, какая ей теперь честь, что понесут ее бояре на головах. Никому, и самому царю, не соблазнить ее никакой честью земной. Она выбрала честь небесную: стояние за Святую Русь до конца.

Боярыня Морозова ответила царю Алексею на словах:

– Эта честь мне невелика, было все и мимо прошло, езживала в каретах, на аргамаках и в бархатах... А вот какой чести никогда еще не испытывала – если сподоблюсь огнем сожжения в приготовленном вами срубе на Болоте.

Спешно перевели Морозову в тот же день в Ново-Девичь монастырь. Повелено было силком волочить ее к службе.

У Ново-Девичьего день и ночь без шапок стояла толпа. Громоздились возки боярынь, колымаги, вельможные приезды, крики конюхов нарушали монастырскую тишину.

Москва следила за неравным поединком боярыни Морозовой, помученной дыбой, с самим царем Руси.

Москва чувствовала, что батюшка-государь сам мучается о старой вере. На Москве многие ждали, что простит государь упорствующих за Русь, за старую ее молитву, и поклонится им, и они ему, и станет снова одним крылатым духом Русская земля.

Но какую силу надобно иметь царю, чтобы отказаться от своего же Соборного уложения, от затей Никона, в каких он чувствовал, к тому же, если не полную правоту, то полуправоту. А вблизи, кругом, одни подобострастные, льстивые, равнодушные: ни на кого опоры.

– Нам как прикажешь, – горьким смехом высмеивал такую ползучую Москву Аввакум. – Как прикажешь, так мы и в церкви поем, во всем тебе, государь, не противны, хоть медведя дай нам в алтарь, и мы рады тебя, государя, тешить, лишь нам потребы давай да кормы с дворца...

Горький и пророческий смех: если не медведя в алтарь, то всепьянейшего и всешутейшего дождутся вскоре.

– Только у них и вытвержено, – с презрением отзывается о

Московии, иссякающей духом, Аввакум. – «А-се, государь, во-се, государь, добро, государь...»

Медведя Никон, смеясь, прислал Ионе Ростовскому на двор, и он медведю: «Митрополите, законоположнище!» ... Настала зима, и сердце озябло... Глава от церкви отста... Не тех, глаголю, пастырей слушать, иже и так и сяк готовы на одному часу перевернуться.

* * *

А кого в эти дни слушал усталый государь, – вероятно, таких поддакивателей: «А-се, во-се, государь», и еще холодно-беспощадную к Морозовой царицу Наталью Кирилловну...

Царь озабочен только тем, чтобы отвести Морозову с глаз толпы: из Ново-Девичьего ее увозят тайно в Хамовники.

Между тем заволновался и царев верх: за Морозову Терем со старыми, исчахшими царевнами-тетками, с царскими сестрами-перестарками и юными девушками.

Они все за боярыню, кроме новой царицы, смоленской стрельчихи. Старшая девушка, строгая молитвенница Ирина Михайловна, стала говорить брату:

– Зачем, братец, вдову бедную помыкаешь? Не хорошо, брате...

Вмешательство царевны Ирины только усилило бессильное раздражение царя против Морозовой. Он знал «прес-

ность» раскольничьей боярыни. Он понимал, что отмена всех затей Никоновых, возврат Руси к ее вековой молитве, осьмиконечному кресту и двоеперстию, только освобождение всех заключенников за старую веру и всенародное царское покаяние перед теми, кто засечен насмерть, кто кончился на дыбах, под плетями, в земляных тюрьмах за Русь, забвение Собора 1666 года, полное поражение его Морозовой и Аввакумом – вот что могло бы примирить его с «бедной вдовой».

– Добро, сестрица, добро, – угрожающе ответил царь. – Готово у меня ей место.

И приказал в ту же ночь вывезти боярыню из Москвы, под крепкой стражей, в далекий, неведомый никому Боровск, в острог, в земляную тюрьму, на жестокое заточение.

Царь желал, чтобы Москва забыла Морозову, чтобы и память о ней исчезла, и думал сам, что так забудет о ней.

А остался с нею навсегда, точно наедине, с глазу на глаз: царь Алексей остался со своей совестью.

В Боровск перевели и княгиню Урусову. Муж давно покинул ее, не толкал больше «пострадати за Христа»: князь Урусов женился на другой.

В Боровск, в тюрьму к Морозовой, привезли и других осторожниц-раскольников, инокиню Марью Данилову, что лежала с ними под рогожами на Ямском дворе, и другую морозовскую инокиню, Иустину.

Верные руки донесли до них последнее посланьице Авва-

кума из Пустозерска:

– Ну, госпожи мои светы, запечатлеем мы кровью своею нашу православную христианскую веру со Христом Богом нашим. Ему же слава вовеки. Аминь.

Один боровитянин, Памфил, в первые же дни был пытан и сослан с женою в Смоленск – за то, что передал острожницам «луку печеного решето». Но к зиме Москва как бы забыла о сосланных. Им стало легче, стрелецкая стража, и та помогала им, чем могла.

В тихий зимний день в Боровск тайно приехал старший брат Федосьи и Евдокии, описатель их жития. Ему удалось свидеться с сестрами.

Федора удивил радостный, неземной свет их изнеможенных лиц и то, что Федосья Прокопьевна с улыбкой назвала свою тюрьму «пресветлой темницей».

А к весне пришли из Москвы в Боровск большие обозы с подьячими и дьяками. Среди боровских стрельцов начался розыск: зачем помогали раскольникам. Москва, видимо, приказала покончить с боровскими острожницами.

И о Петрове дне дьяк Кузмищев сжег на срубе инокиню Иустину, Марью Данилову бросили в темницу, к злодеям, а сестер, Федосью и Евдокию, отвели в цепях в другую земляную тюрьму, выкопавши ее глубже первой.

От них отобрали брашно, снедь самую скудную, одежды, малые книжицы, иконы, писанные на малых досках, лесто-вушки. Отняли все.

Заключение стало лютым. Сестры «сидели во тьме несветной, страдали от задухи земные, от земного пару», мучила тошнота.

Вот когда одни только страшные глаза страдания остались им; рано поседевшие, с горящими глазами, они извляли в темнице...

Тысячи тысяч их русских сестер в теперешних соловецких и архангельских застенках точно бы повторяют страдание Морозовой и Урусовой за Русь.

Они, острожницы боровские, – водителиицы всех русских, живых, кто по одному голосу своей христианской крови и совести человеческой не принял терзающей антихристовой и бессовестной советчины.

* * *

Сорочек сестрам ни менять, ни мыть не позволяли. В худой одежде, в серых лохмотьях, какие они не скидали от холода, развелось множество вшей. Ни днем покою, ни ночью сна. Окаянную вшу застенков узнали теперь все мы, русские...

Лествицы и четки от сестер отобрали. Они навязали по пятидесяти узелков из тряпиц и по тем узлам, попеременно, свершали изустные молитвы. Во тьму им подавали только сухари ржаные и воду.

Иногда, от жалости, сторожевой стрелец, тайно от друго-

го, даст еще огурчика или яблока.

* * *

Княгиня Урусова, такая еще молодая, первая ослабела от тьмы и великого голода, не могла цепи поднять, ни цепного стула сдвинуть, прикованная.

Она молилась, распростершись на земле, иногда сидя, подкорчившись у груды цепей.

Ночью – по голосам стрелецкой стражи «Слушай» можно было понять, что стоит глубокая ночь, – Евдокия подозвала сестру.

Та подползла к ней, тихо гремя цепью.

– Отпой мне отходную, – сказала Евдокия. – Что ты знаешь, то и говори, а что я припомню, то сама проговорю.

И сестры, во тьме, стали петь отходную, одна над другой. Мученица отпевала мученицу.

Они как будто пели отходную всей Московии.

Евдокия скончалась. Сестра поискала рукой в темноте, коснулась легко ее истончавшего лица и закрыла ей веки.

* * *

Княгиню Евдокию Урусову завернули в худые лохмотья, в рогожу, и, не сбивши цепей, вынесли из застенка.

Монастырский старец приходил увещевать боярыню Федосью Морозову, к ней перевели обратно из злодейского острога инокиню Марью.

– Отложите всю надежду отлучить меня от Христа, – сказала Федосья Прокопьевна старцу. – И не говорите мне об этом... Уже четыре года я ношу эти железа, и радуюсь, и не перестаю лобызать эту цепь, поминая Павловы узы... Я готова умереть о имени Господни.

Отлучить от Христа... страшно о том подумать, и нет таких слов, чтобы о том сказать, но как будто провидела Морозова, что Русь в чем-то, в самом последнем и тайном, двинулась к отлучению.

Вот, будет Русь блистать, и лететь, и греметь в победах Петровых, будут везде парить ее орлы и гореть ее молнии, а все, а всегда в русских душах будет проходить тайная дрожь, не то страх, что все равно, как ни великолепна Россия, в чем-то она не жива, не дышит она. В чем-то отлучена. И в нестерпимой тоске Пушкина, и в сумасшествии Гоголя, в смуте Толстого и Достоевского, в самосожжении Мусоргского, в кликушествах Лескова: – «Россия-Рассея, только во Христа крестилась, а во Христа не облеклась», – тоже страшное чувство какого-то отлучения и предчувствие за то великих испытаний и наказаний. Изнемогающая в цепях и непобедимая боярыня Морозова – живое знамение для всех русских, живых; как забыть, что ее мощная христианская кровь мощно дышит и во всех нас: она нам знамение Руси о имени Гос-

подне.

* * *

Морозова изнемогала.

Однажды на рассвете она поднялась и, волоча цепь, подошла к темничным дверям. Бледное лицо, с горячими глазами, в космах седых волос, выглянуло сквозь узкое оконце. Боярыня подозвала сторожевого стрельца:

– Есть у тебя отец, мать, живы они или умерли, если живы – помолимся о них, если умерли – помянем их...

Оба перекрестились.

– Умилосердись, раб Христов, – тихо сказала боярыня. – Очень изнемогла я от голода и хочу есть, помилуй мя, дай мне калачика.

– Боюсь, госпожа.

– Ну, хлебца.

– Не смею.

– Ну, мало сухариков.

– Не смею.

– Ну, принеси мне яблочко или огурчиков.

– Не смею.

Пожилой черноволосый стрелец утирал рукавом кафтана лицо: бежали непрошеные слезы.

– Добро, чадо, – сказала ласково и грустно боярыня. – Благословен Бог наш, изволивый тако... Если не можно тебе это,

то прошу тебя, сотвори последнюю любовь: убогое тело мое покройте рогожкой и положите меня подле сестры, неразлучно... Вот хочет Господь взять меня от этой жизни, не подобает, чтобы тело в нечистой одежде легло в недрах своей матери-земли... Вымой мне грязную сорочку.

Стрелец огляделся, скрыл малое платно боярыни под красным кафтаном. Он отнес на реку ее малое платие, омыл там водой, а сам плакал.

* * *

Боярыня Морозова скончалась в темнице, в цепях, в студеную ноябрьскую ночь.

В ночь кончины подруженьке ее, инокине Меланье, было видение.

Стоит Федосья Прокопьевна, зело чудна, юная, сияют ее светлые волосы и синие ее очи. Стоит она, облеченная в схиму и куколь, страдальца за Святую Русь, светла, радостна, и в веселости водит руками, как малое дитя, по одеждам, дивясь небесной красе риз своих.

* * *

Все умолкло, исчезло, и подземную темницу засыпали в Боровске.

Только тихий морозовский гром стал ходить по Русской земле. Ходит и теперь в русских душах...

* * *

Младший брат боярыни окольникчий Алексей Соковнин, последняя молодая Московия, дождалась воочию того, что только провидела его сестра: пришел Петр и последнее потоптание Московии.

Алексей Соковнин – вспомним снова, что в Соковниных текла твердая немецкая кровь, а с ним Циклер, – не странно ли, что тоже из немцев московских, – подымали на царя Петра заговор.

В 1697 году оба они были казнены на Красной площади.

* * *

В Боровске, на городище, у острога, вероятно, теперь и не осталось белого камня, с иссеченными на нем московскими буквами:

– Погребены на сем месте... боярина князя Петра Семеновича Урусова жена его, княгиня Евдокия Прокопьевна, да... боярина Морозова жена, Федосья Прокопьевна, а в иноках схимница Феодора, дочери окольникчего Прокопья Федоровича Соковнина...

Ни церковной свечи никогда не горело над ними, ни лампы. Только звезды небес. Тихая ночь...

7 ноября 1936 г.